

*Билет на бумажный
кораблик*



*русский
любовный
роман*

Анастасия Дробина

Анастасия Дробина

Билет на бумажный кораблик

«ЭКСМО»

Дробина А. В.

Билет на бумажный кораблик / А. В. Дробина — «Эксмо»,

Александра – внучка известного московского хирурга, девушка с удивительными способностями к врачеванию. Пашка Шкипер – сын уголовника. Много лет Саша лишь наблюдала за опасным промыслом рискованного парня, лечила его бойцов, а иногда и самого Пашку, любовалась на его роскошных женщин. Но однажды случай бросил их в объятия друг друга. Что это было: ни к чему не обязывающая близость – или результат старого, проверенного годами чувства, которое оба скрывали даже от самих себя? Как поступить девушке? Кинуться очертя голову в опасный водоворот жизни бандита или отказаться от него навсегда?..

© Дробина А. В.

© Эксмо

Содержание

Пролог	5
Часть I	7
Конец ознакомительного фрагмента.	31

Анастасия Дробина

Билет на бумажный кораблик

Пролог

Однажды вечером мы со Шкипером сидели на веранде ресторана «Сорелла» итальянского города Лидо. Было поздно, усталый оркестрик вяло доигрывал мелодию из «Шербурских зонтиков», белая веранда с букетами камелий на столах была почти пуста, и я сняла под столом туфли.

– Пол каменный, – не поворачиваясь в мою сторону, сказал Шкипер. – Влезь назад.

Я пожала плечами, надела туфли снова. Через плечо Шкипера посмотрела на черное невидимое далекое море, сплошь усеянное по побережью разноцветными огнями. Сильно пахло цветами и соленой водой. Мой martini в бокале выдохся и стоял грустный, без пузырьков, с раскисшей вишенкой на дне. Шкиперовская водка в толстом стакане держалась молодцом и спокойно ждала, пока ее прикончат. Шкипер, впрочем, не торопился, курил, стряхивал пепел за ограду. Свеча в голубой хрустальной вазе на столе неровно освещала его лицо со слегка выдвинутым подбородком, глубокие морщины на лбу, опущенные тяжелые веки. Когда Шкипер, не меняя позы, внезапно посмотрел на меня, я вздрогнула. За столько лет я так и не привыкла к его взгляду.

Он догадался и отвел глаза. Очень светлые, серые, на темном, смуглом лице. Шкипер мог бы казаться даже привлекательным, если бы не выражение этих глаз. Вернее, его полное отсутствие. Хватаясь за martini, я подумала, что Шкипер не может не знать о впечатлении, которое его взгляд производит. Потому и редко смотрит прямо в лицо людям – если, конечно, не ставит цель вывести собеседника из равновесия.

– Слушай, ты меня боишься? – словно угадав мои мысли, негромко поинтересовался он.

От неожиданности я сказала правду:

– Не боюсь.

– А жалела когда-нибудь?

– Что связалась с тобой? – уточнила я.

– М-гм.

Я пожала плечами. Задумалась. Шкипер, держа в руке стакан с водкой, поглядывал на освещенный бассейн внизу.

– Слушай, Пашка, у меня варианты разве были?

– Ну-у... – имитируя смертельное оскорбление, он поставил стакан на стол и даже вынул изо рта сигарету. – Когда я тебе перо к горлу приставлял?

– Всю жизнь, – буркнула я, залпом допивая martini. Подавившись вишенкой, закашлялась, и на физиономии Шкипера появилось подобие улыбки.

– Ну, всю жизнь, положим, ты от меня отдыхала.

– Врешь! – возмутилась я. – Да ты... Да ты...

Он поднял ладонь, прерывая мое кудахтанье, и деловито спросил:

– С чего началось, помнишь?

– Я-то помню, а ты?!

Он не ответил. Я стянула со спинки стула шарф (стоял конец августа, в вечернем платье становилось холодновато), закутала плечи. Подумав, спросила:

– Ты «Пиковую даму» Пушкина читал?

К моему удивлению, Шкипер кивнул.

– Начало помнишь?

– Ну, уж это – извини...

– «Однажды играли в карты у конногвардейца Нарумова».

– А, вон ты чего... – Шкипер усмехнулся, достал новую сигарету. – Сейчас покурю, и пойдем... Только играли не у гвардейца. А у вас со Степанычем.

Я вздохнула. Шкипер коротко взглянул на меня, молча стал закуривать. А я откинулась на спинку стула и закрыла глаза.

Часть I

В тот зимний вечер от холода замерзли окна. На улице мело. За круглым столом, под зеленым абажуром, сидели мой дед Степаныч, дед Килька и Федор. Обычный пятничный покер длился уже четвертый час. При той памятной игре присутствовали я, моя подруга Милка и Татьяна – любовница Федора. Нам с Милкой по тринадцать лет, Татьяне – двадцать два. Болтать во время игры нам запрещено строго-настрого, и поэтому я, борясь с зевотой, тихо играю на пианино розенбаумовский «Вальс-бостон», Милка в сотый раз раскладывает пасьянс «Гусиные лапки», а Татьяна просто сидит, запустив острые ногти в бронзовые выющиеся волосы, и смотрит на Федора. Тот всецело сосредоточен на картах, Танькиного взгляда не замечает, а я в который раз удивляюсь: что такая красавица, выпускница хо-реографического училища, тоненькая, с шикарными волосами, могла найти в старом лысом уголовнике, годящемся ей почти в деды? Плешь Федора загадочно поблескивает в свете лампы, узоры татуировки на кистях рук кажутся черными. Вся его сухая и жилистая фигура напряжена, словно перед прыжком, а на резком лице такое безразличие, словно на руках у Федора каре из королей. Он похож на Мефистофеля.

Дед Килька не так спокоен: ему сегодня не везет, он уже играет в долг и заметно нервничает. Черные, блестящие, как у зверька, глаза мечутся по лицам партнеров, время от времени Килька шепотом ругается по-цыгански.

– Господи, снова-здорово... – бурчит Милка, косясь на него. – Счас продуется в лоскут, а завтра начнется: «Милка, дай деду на пиво...» А у меня прям миллионы!

– Пас, – говорит Килька.

– Пас, – говорит Степаныч.

Федор медленно переворачивает карты. У него каре из королей. Килька ахает и всплескивает руками, но Федор не замечает его. Он в упор смотрит на Степаныча. Своим обычным надтреснутым голосом тихо говорит:

– «Американка».

– Чего?! – Степаныч вскакивает, опрокинув табуретку. Это настолько не похоже на него, что я сбиваюсь с такта, а Милка роняет всю колоду на пол. Только Татьяна спокойна, как сытый удав.

– Не дожدهшься! Я тебе сказал – не дожدهшься! – рычит мой дед прямо в невозмутимое лицо Федора и стучит кулаком по столу. Карты, деньги, кости от воблы сыплются им под ноги. – У меня Санька! Ты понял – Санька у меня!

Дед Килька моментально понимает, что пора смываться, и задним ходом двигается к двери, по пути хватая за рукав внучку. Милка не сопротивляется, но успевает шепнуть мне:

– Завтра расскажешь.

Я киваю. Цыгане исчезают. Татьяна встает. Не глядя на Федора, берет с полки ключи от машины, дергает с вешалки в прихожей свою роскошную норковую шубу и, не надевая ее, выходит. До тех пор, пока за ней не захлопывается дверь, Федор и мой дед молча стоят у стола и сверлят друг друга глазами. Затем поворачиваются ко мне и хором говорят:

– Спать!

Через десять минут я лежу в комнате на кровати, смотрю на портрет бабушки на стене напротив и слушаю, как на кухне ругаются Федор и дед.

– Все, что хочешь! Все, что хочешь, я тебе говорю, но не это! Хочешь – эту квартиру на твою Таньку перепишу! Когда помру... А об этом забудь! Ишь, паразит, выдумал «американку»! – Дед осекается на полуслове, и я с тревогой понимаю: схватывает сердце.

– Да ты пойми, Иван... – В голосе Федора нет привычной жесткости, он то и дело кашляет и почти что извиняется. – Они чистые, понимаешь – чистые!

– Не бывает у тебя чистых, сволочь! Сели своё жульё, где хочешь! А у меня – Александра! Ребенок! Ей учиться надо! И так всю жизнь, как репа на помойке, не нужна никому!

Пока я с удивлением осмысливаю последнюю Степанычеву фразу (я – репа? Я – на помойке?.. Я – не нужна?..), Федор тихо, убедительно говорит:

– Иван, если ты думаешь, что я тебя на «американку» беру... Да фраер буду, плевать на нее! Забудь! Считай – шутовал я! Просто так прошу, как кореша... очень надо! Очень! Когда я тебя о чем просил?!

– Никогда. – Дед ненадолго умолкает, но потом твердо говорит: – Но и об этом не проси. Будь я один – хоть шоблу приводи и малину здесь устраивай. А у меня – Александра. Все. Извини.

Через минуту Федор уходит. А я еще долго слушаю, как дед рассказывает по комнате, кашляет, курит, пьет воду из чайника, что-то бормочет вполголоса. Любопытство ест меня поедом, но задавать деду вопросы бессмысленно.

Дед мой, Иван Степаныч Погрязов, человек большой во всех отношениях. В нем было два метра роста, и мне, маленькой, он всегда казался огромным, как сказочный богатырь. Широленные плечи, мощная грудная клетка, сильные корявые руки, как у шахтера. Определить по таким рукам, что дед хирург, – невозможно. Когда в нашем подъезде кто-нибудь из соседей-мужиков напивался и начинал буянить, их жены первым делом бежали за Степанычем. Он молча шел на место преступления и иногда даже не применял физического воздействия: алкаши трезвели от одного взгляда его голубых, ледяных, как у древнего викинга, глаз. Если же это не помогало, буяны катились по всем ступенькам лестницы вниз и вылетали из подъездной двери прямо в сугроб. Сей изуверский способ работал безотказно, и обычно наша подъездная пьянь, даже напившись, вела себя прилично. Сам Степаныч никогда не пил, а когда у него на руках оказалась я, бросил даже курить, поскольку для дитяти это было вредно.

Моя мама, дочь Степаныча, умерла при родах, про моего отца ничего не известно, кроме того, что он учился с матерью на одном курсе медицинского и, узнав о ее беременности, моментально перевелся в ленинградский институт и исчез из ее жизни. Из роддома меня получали Степаныч и бабушка Ревекка, которую я почти не помню, поскольку, когда она умерла, мне было три года. О ней мне напоминал лишь висевший на стене в моей комнате портрет, написанный маслом одним из друзей деда. Черноволосая красавица с библейской внешностью томно и слегка надменно взидала на меня из овальной рамы, сложив тонкие пальцы на изящной вышивке. В детстве, помню, я ее боялась, став постарше – начала завидовать. Я была очень похожа на бабушку, но при этом казалась ее карикатурой: худая, высокая, нескладная, с темноватой кожей, с резкими скулами, с жесткой, не поддающейся никакому гребню копной волос и недоверчивым взглядом черных глаз. Годом к двенадцати я окончательно убедилась в том, что бабкина красота мне не светит, и смирилась с тем, что на всю жизнь останусь черномазой галкой.

Первое, что помню из детства, – пение деда на кухне. Петь он любил, у него был красивый, хотя и не очень сильный бас, а репертуар весьма необычный. Так, например, в плохом настроении он исполнял: «Эх, начальник, ключик-чайничек, отпусти до дому...» Если же жизнь была более-менее сносной, дед любил петть Вертинского, «Над розовым морем вставала луна», Петра Лещенко, «Ты едешь пьяная и очень бледная...», старинные романсы. Дедовская блатная лирика органично вписалась в мои представления о прекрасном. Впрочем, воровские песни он пел редко, а о своей жизни на зоне не рассказывал никогда, даже когда я подросла и нахально стала задавать вопросы. Точно так же он пресекал разговоры о войне, хотя прошел ее всю, от Москвы до Берлина. «Ничего там хорошего нет, и болтать не о чем».

Моим воспитанием в строгом смысле слова дед не занимался: делать ему это было некогда, он работал в больнице, часто, чтобы платили больше, брал на себя внеочередные дежурства, и по праздникам я его никогда не видела. Не бывало у нас и гостей, кроме постоянных

партнеров деда по картам, и играть в покер я выучилась раньше, чем читать. Грамоте Степаныч меня выучил, когда мне исполнилось четыре года – правда, в сугубо корыстных целях: ему надоело, что я постоянно прошу почитать книжку. Ушло у него на это недели две, но зато в дальнейшем я просто брала с его полки что хотела и читала сколько хотела: в литературе дед меня никогда не ограничивал. Степаныч и сам читал при любой возможности. Если ночью он не дежурил, то до утра сидел на кухне с каким-нибудь томом. Глядя на него, и я приучилась читать в любое время суток, в транспорте, в школе под партой и стоя у плиты с поварешкой.

Мне было лет шесть, когда Степаныч посадил меня к себе на колени и строго сказал:

«Александра, запоминай, повторять не буду. Для тебя, за тебя и без тебя никто в этой жизни ничего делать не будет. Понятно я излагаю? Повтори. И напомни-ка – где лежит бесплатный сыр?»

«В мышеловке...»

«Молодец».

С памятью у меня проблем никогда не было, и дед остался доволен, – несмотря на то, что смысл этих сентенций в полной мере дошел до меня лет десять спустя. В том же году Степаныч отвел меня в музыкальную школу, даже не спросив моего на то согласия. Мне, впрочем, и в голову не пришло возразить: деда я слушалась всегда, и большего авторитета для меня не было.

Федора я тоже знала с младенчества и лишь недавно начала понимать, кто он, собственно, такой. Почти сорок лет назад дед и Федор познакомились на зоне, которая для Федора была домом родным, а дед попал туда перед самой смертью Сталина по делу о врачах-убийцах. Потом Сталин умер, деда почти сразу отправили на поселение, а вскоре и реабилитировали (я знаю, что на этом настаивал сам Маленков). Федор остался в зоне еще на пять лет, но, освободившись, сразу отыскал в Москве деда. Почему они подружились там, в Сиблаге, что могло связать на долгие годы вора в законе и одного из лучших хирургов Москвы, я не знала, а спросить об этом Степаныча или Федора мне и в голову не приходило. Покер по пятницам был в нашем доме совершенно обычным явлением даже тогда, когда еще была жива бабушка. Годы шли, любовницы Федора делались все моложе, но сам он, казалось, не менялся. В годы повального дефицита у нас в доме всегда было мясо, колбаса, импортные консервы; их приносил в авоське неопределенного возраста мужичок, передавал сумку возмущенному деду и, не слушая вопросов и ругательств, скатывался вниз по лестнице. В пятницу появлялся ржущий и притворно удивляющийся Федор.

«Ничего не знаю! Нет, не моя работа! Иван, отзынь, не моя, говорю! Сам не хочешь шамать – Сашку корми, ей расти надо!»

При упоминании обо мне дед обычно сдавался, и продукты из авоськи перекочевывали в холодильник. Степаныч и так считал, что я слишком много времени для своего нежного возраста провожу в очередях.

Покровительство Федора я начала ощущать на себе с того дня, когда, двенадцатилетняя, примчалась домой под вечер вся в слезах: меня поймала в подворотне компания полупьяных пацанов, с одним из которых, Яшкой Жамкиным, я даже училась в одном классе и жила на одной лестничной площадке. Серьезного вреда они мне не причинили, но перепугали до полусмерти, разорвали платье и пересовали липкие руки во все возможные места. К счастью, Степаныча не было, он задерживался в больнице, но почему-то в квартире оказался Федор. Взглянув на меня, он сразу все понял и, пока я редела и отмывалась в ванной, позвонил кому-то по телефону и сказал несколько слов. Разговора я не слышала, напрочь о нем забыла и не вспомнила бы, если бы на следующий день двое из вчерашних налетчиков не перегородили мне дорогу у самого подъезда. Я сжала в кармане заранее приготовленную вилку, решив дорого продать свою честь, но в этот раз парни не спешили посягать на мою невинность. Стоящий впереди Яшка, косясь в сторону, пробормотал:

«Ты, Погрязова, это... Извини... Того, не в курсе были... Кто ж знал-то? Больше ни мы, ни Гвоздь, ни Ряха – никто... Не думай... Короче, извини... Больше не будем».

И смылись в подворотню. А я, совершенно ошарашенная, продолжила путь. Действительно, ко мне больше никто никогда не приставал. И еще несколько лет эти дворовые короли встречали меня в подворотне, нестройно здоровались или, если я шла слишком поздно, негодовали:

«Где шманаешься, дура? Во что-нибудь вляпаешься, а нам потом доказывай, что не верблюд...»

Я входила в положение и старалась не опаздывать.

Но кого хотел «подселить» к нам Федор? Кого-нибудь из своих бандитов? Вряд ли, он никогда бы не впутал Степаныча в свои дела... Так ничего и не придумав, я закрыла глаза и предалась своему любимому развлечению перед сном: начала вызывать зеленый шар. В детстве мне казалось очень забавным это занятие, я представляла себе крошечную зеленую точку, которая постепенно росла, становясь в конце концов размером с футбольный мяч, и я физически начинала чувствовать идущее от него тепло. Шар светился и шевелился, его можно было гонять по всему телу, с ног на голову, с одной руки на другую, и ощущать при этом, как он приятно греет кожу. Что это означает, я тогда еще не знала, была абсолютно уверена, что такого рода шары появляются перед сном у всех людей, и поэтому ни с кем о нем не говорила. Это было бы так же глупо, как обсуждать наличие у каждого человека двух рук или одного носа.

Наигравшись с шаром, я перевернулась на живот и спокойно заснула. А утром проснулась оттого, что в коридоре кричал Степаныч:

– Как? Когда?! Что ты ему дала, дура?! Какой укол? Что значит «не успела», я сто раз тебе говорил, «Скорую» надо было!!! Твою мать!!!

Впервые в жизни услышав, как дед ругается матом, я в одной рубашке, босая, вылетела в коридор. Телефонная трубка уже была брошена, висела на раскрутившемся шнуре и вяло пикала. Дед сидел согнувшись на табуретке. Увидев меня, он хрипло сказал:

– Это Татьяна. Федор помер. Ночью. Инфаркт.

Похороны состоялись через три дня. На кладбище я увязалась за дедом, хоть он и настаивал, чтобы я осталась дома. Котляковское кладбище обычно было малолюдным, и я очень удивилась, увидев, как пятачок перед церковью заполняет десятка четыре автомобилей. Машины были дорогие, блестящие, несмотря на московскую зимнюю грязь, почти все – иномарки, которых тогда и в Москве было не так много. На отпевание мы с дедом опоздали: гроб уже выносили из церкви шестеро мужчин.

Гроб с Федором плыл под серым небом по заснеженной аллее. За гробом валила толпа – сплошь мужчины, молодые, не очень и совсем старики в дорогах по тем временам кожаных пальто и куртках, коротких дубленках, норковых и волчьих шапках в руках. Из женщин была одна Татьяна, заплаканная и подурневшая до неузнаваемости, она все время рыдала в мокрый скомканный платок. Ее бронзовые волосы, выбиваясь из-под черного платка, липли к лицу, но Татьяна не убирала их. Когда опустили гроб, дед подошел к Татьяне (его, видимо узнавая, пропустили) и вполголоса сказал:

– Пусть приходят... если еще нужно.

– Нужно, Иван Степаныч, – хрипло сказала Татьяна. – Спасибо.

Назавтра она пришла к нам, по-прежнему в черном, бледная, постаревшая на несколько лет, с убранными в строгий узел волосами. Вслед за ней в прихожую шагнул высокий темно-волосый парень со светлыми глазами. Он лишь мельком взглянул на меня, но даже от этого короткого взгляда мне стало не по себе. Так в мою жизнь вошел Шкипер.

Спрятавшись за кухонной дверью, я рассматривала гостя. Что-то в его резком лице с тяжеловатым подбородком и темной, будто прокопченной кожей показалось мне знакомым. Посмотрев внимательнее, я поняла: этот парень был очень похож на Федора. За ним вошли

еще двое. Один был совсем молодым, скорее всего, таджиком или туркменом с наглейшими черными глазами, довольно красивым. Второй – огромный, бесформенный и неповоротливый, как оживший гардероб, с плоским лицом и толстыми веками, из-под которых едва видны были узкие карие, совсем неглупые глаза. Они молча замерли у порога.

Дед, пристально поглядев на Шкипера, видимо, тоже сделал нужные выводы, но вопросов задавать не стал. Они разговаривали за закрытой дверью не более пяти минут. Затем вышли. Шкипер тихо сказал несколько слов остальным (они слушали, не перебивая), а дед повернулся ко мне:

– Поедешь с ними к Сохе. Пусть поживут пару месяцев.
– Завтра? – обрадовалась я перспективе прогулять школу.
– Сейчас. – Дед повернулся к Шкиперу: – Поедете с Санькой. Учти, засранец, если с ней хоть что-нибудь...

Шкипер посмотрел на Степаныча так, что тот не стал продолжать и, резко махнув рукой, ушел на кухню. Я же кинулась одеваться.

Через два часа мы сидели в холодной, почти пустой электричке. Ехать было долго, больше трех часов, и я вытащила из рюкзака «Мастера и Маргариту». За усиленным чтением я надеялась скрыть некоторую неловкость: за время дороги до вокзала я со своими спутниками не обменялась ни единым словом. Они вполголоса переговаривались между собой, причем в основном говорили те двое, и было заметно, что они сильно обеспокоены. Шкипер больше молчал, в метро, казалось, даже дремал, но уже на вокзальной площади повернулся к ребятам и что-то коротко произнес. Я ничего не расслышала, поскольку как раз брала в кассе билеты. Но Ибрагим и Боцман (так они представились) заметно успокоились, закурили, Ибрагим даже начал было рассказывать какой-то похабный анекдот, но Шкипер показал глазами на меня, и тот умолк. В электричке эти двое заснули, едва состав отошел от платформы. Было видно, что до этого они не спали несколько ночей.

Я надеялась, что и Шкипер уснет тоже, но у него, казалось, и в мыслях ничего подобного не было. Сидя у окна, он барабанил пальцами по колену, смотрел на проносящийся мимо заснеженный лес, молчал. Лицо Шкипера было абсолютно безмятежным, но мне казалось, что у него что-то болит. Причем болит сильно. Чувствовать такие вещи я начала лет в пять, считала это само собой разумеющимся и, как правило, не ошибалась, но задать вопрос «Где у тебя болит?» незнакомому взрослому мужику?.. В конце концов я уткнулась в книгу, не боясь показаться невежливой. Тогда-то Шкипер и повернул голову.

– Это что у тебя?

Я вздрогнула, чуть не уронив книгу. Серdito сказала:

– Сами не видите?

– Вижу. Дай глянуть. И давай на «ты» лучше, а то нервы болят.

Удивленная, я протянула книжку. Шкипер раскрыл в начале и совершенно спокойно начал читать. Я следила за ним с нарастающим изумлением. В том, что передо мной сидит бандит, я ничуть не сомневалась. Но – читающий бандит? Да еще «Мастера и Маргариту»?.. Со слов деда я знала, что эта книга не проста, что мне в мои тринадцать читать ее рановато и что люди относятся к ней резко полярно: или роман становится любимым на всю жизнь, или же его не признают совсем. Я еще не выяснила, к какому типу читателей отношусь, поскольку застряла где-то на двенадцатой странице.

– Слушай, я почитаю? – не поднимая глаз, спросил Шкипер.

– Сейчас тебе! – возмутилась я. – Что я три часа делать буду?

– Зрение береги, молодая пока. Спи вон.

– Не хочу, я всю ночь спала!

– Хочешь – другую дам?

– А у тебя склад? – съязвила я.

Шкипер молча отложил «Мастера и Маргариту», полез в свою сумку и вытащил... «Чуму» Камю.

– Ты это прочитал?! – опешила я.

Шкипер улыбнулся несколько смущенно:

– Купил недавно на рынке. Не понял ни черта, бросил. Может, ты разберешься?

– А... зачем купил?

– Название понравилось.

Я молчала, не зная что ответить. Шкипер тем временем снова взялся за «Мастера и Маргариту». Я, помедлив, протянула руку:

– Отдай, ты здесь тоже ничего не поймешь.

– Почему? – Светлые, не то серые, не то зеленоватые глаза взглянули в упор, и мне стало не по себе, хотя Шкипер улыбался. – Здесь нормально... Понятно пока.

– Сколько классов заканчивал? – ехидно спросила я.

– Пять, – невозмутимо ответил Шкипер. – И те через жопу.

Я растерялась. Было похоже, что он не врет. Но тогда мы все-таки жили в еще не развалившемся СССР с его обязательным и бесплатным образованием для всех: восемь классов худо-бедно закончили даже дети нашей соседки-алкоголички. Я первый раз в жизни видела человека с «пятью классами через жопу» и обеспокоенно подумала: не обиделся ли он на меня?

– Ну, ладно, почитай до двенадцатой. А потом вместе будем.

Когда электричка подходила к крошечной станции Крутичи, мы со Шкипером добрались до двести двадцать седьмой страницы. Жестокий прокуратор Иудеи всадник Понтий Пилат вершил свой суд. Я совсем замерзла, но даже не сообразила, в какой момент Шкипер обнял меня за плечи и притянул к себе. Много лет спустя он, смеясь, убеждал меня, что тоже не заметил, как это вышло. Самое интересное, что это было похоже на правду. Я почувствовала чужую руку на своих плечах, лишь когда проснулся и заржал Ибрагим:

– По малолеткам заработал, Шкипер?!

Я тут же, хотя и с некоторым сожалением, освободилась (у Шкипера под мышкой было тепло), Шкипер проворчал что-то в адрес козла и придурка с одной прямой извилиной, но никакой неловкости мы оба не испытали. Шкипера на тот момент явно занимали совсем другие мысли. А мне, малявке, и в голову не могло прийти что-то в отношении старого дядьки, коим мне тогда казался двадцатипятилетний Шкипер.

Соха жила в деревне Крутичи Калужской области – полная глухомань, куда и автобусы не ходят. Сколько себя помню, дед отправлял меня туда на все каникулы. С восьми лет я ездила самостоятельно, 31 мая садясь в электричку на Киевском вокзале и 31 августа возвращаясь в Москву дочерна загорелая, пропыленная, с выгоревшими волосами. Соха была таким же неотъемлемым элементом моего детства, как Степаныч, Милка, соседи-цыгане, книги, рояль. Как и дед, я звала ее в глаза – Егоровна, за глаза – Соха, и мне в голову не приходило выяснять, кем она, собственно, мне приходится. Кроме нее, в Крутичах жили четыре древние бабки, до асфальтового шоссе нужно было шагать полями километров пять, до станции – почти столько же лесом, а с трех сторон деревню окружал глухой лес с лосями и медведями. По окраине деревни бежала узенькая речушка Крутька, заросшая по берегам раkitником, за Крутькой лежал необъятный луг, поросший всевозможной травой и благоухающий так, что на него слетались все окрестные пчелы, а за лугом начиналось болото и лес.

Дом Сохи – голубой, облупившийся, с белыми наличниками на окнах и петушком на венце крыши. Все уже довольно старое, но ладное и не обветшавшее. Вокруг дома – огромный сад из старых яблонь, слив и вишен, огород, наполовину состоящий из грядок с лекарственными травами, за косым забором – традиционные ряды картошки, а за картошкой – опять

травы. Соха была известной на всю область знахаркой, и лечиться к ней приезжали даже из Москвы.

При первом взгляде на Соху люди обычно теряются. Представьте себе гвардии полковника в отставке с прямой спиной, широкими плечами, ростом метр восемьдесят, с морщинистым лицом, серыми, холодноватыми глазами, со сталью в голосе и непреклонностью во взгляде. Оденьте полковника в длинную сборчатую юбку и старую, но чистую вязаную синюю кофту, на голову повяжите платок в голубых незабудках, на ноги натяните теплые чуни. Подпоящите его фартуком с объемистыми карманами, из которых постоянно высыпаются какие-то сухие семена и соцветия. Это будет уже не полковник, а Антонина Егоровна Сохина, Соха. В молодости она была очень хороша собой и похожа на Марлен Дитрих, о чем свидетельствует фотокарточка пятидесятилетней давности, пришпиленная над комодом.

В доме Сохи всегда очень чисто, крашенные полы отмыты до блеска, покрыты домоткаными дорожками, занавески на окнах вышиты розами и диковинными листьями (Маруське зимой нечем больше заняться). Всюду – на стенах, на полках, на огромной беленой печи – травы, почки, высушенные цветы. Из-за этого в доме Сохи всегда стоит запах летнего луга. На стене копия картины Маковского «Дети, бегущие от грозы». Копия плохая, выполненная деревенским пьяницей-художником. На ней девочка, несущая брата, изображена совсем взрослой девушкой лет восемнадцати и очень похожей на Маруську. На другой стене – книжные полки. Одна занята различными изданиями и журналами по садоводству, цветоводству и консервированию: сад у Сохи самый лучший в деревне. Деревенские бабки завидуют, шепчутся, что все это из-за того, что Соха – ведьма, поэтому у нее и растет все само. То, что результата можно добиться одним только грамотным уходом, им и в голову не приходит. Много у Сохи и других книг, читать она, в отличие от деревенских, любит и не ленится ходить зимой на лыжах за семь километров в село Сестрино, где есть библиотека. Часто книги ей подбрасываем я или дед, кое-что покупает Маруська, когда ездит в Москву. Но Маруська, которая сама никогда не читает, выбирает книги по принципу «солидности»: чем толще и непонятнее, тем лучше.

«У, дура... – ругается Соха, отправляя на самую дальнюю полку какую-нибудь раззолоченную „Историю русского масонства“ или „Географический атлас Южного полюса“. – Хоть бы на заглавие посмотрела, ей-богу... Вот саму заставлю читать, узнаешь тогда! Денег грохнула кучу, а никому не надобно! Лучше бы про любовь что взяла!»

«Не поздно вам про любовь-то?» – нахально интересуется Маруська. С визгом уворачивается от метко запущенного валенка и с ногами прыгает ко мне на кровать. Ее зеленые глаза смеются, на них падает светлая прядь волос, и Маруська становится похожей на русалку из сказок Пушкина.

Маруська появилась у Сохи, когда мне было лет восемь, а ей – пятнадцать, и откуда она взялась, я не задумывалась. В детстве вообще редко задаешь себе такие вопросы. Мне было достаточно того, что летом было с кем бегать на речку и в лес: других детей в Крутичах не бывало даже на каникулах. Чаще всего Соха отправляла нас с Маруськой за травой, мы уходили на рассвете и возвращались, усталые мертвую, уже при свете месяца.

Больше всего я любила бывать на большой круглой поляне в лесу, до которой нужно было пробираться больше часа сквозь ельник, орешник и густые заросли папоротника. Высокие травы на поляне сильно и остро пахнут, деревьев нет ни одного, зато точно в середине торчит растрескавшийся деревянный столб, весь черный, словно опаленный, и закругленный сверху. Соха как-то обмолвилась, что этот столб – испорченный временем идол славянского бога Перуна. За Перуном, сквозь темные стволы елей, едва можно разглядеть маленькое лесное озерцо. Когда я, раздевшись, ступаю на замшелые мостки, желтоголовые ужи бесшумно соскальзывают с них и плывут, выставив головки. Мне не хочется пугать обитателей озерца, я осторожно, стараясь не волновать заросли травы, захожу в воду, но Маруську законы водяного

общежития не волнуют, она влетает в озерцо с шумом и брызгами; завопив, вдруг пропадает с головой, выскакивает в столбе воды, хохочущая:

«Ой, глубоко, до дна не достать!»

Я медленно плыву к середине. Внизу, сквозь зеленоватую толщу, видны мелкие камешки, песок. Над головой, в венке зеленых листьев и ветвей просвечивает голубеющее окно неба. Я закрываю глаза и привычно вызываю свой зеленый шар. Здесь, на поляне, он всегда почему-то приходит гораздо быстрее, чем дома перед сном. Холод воды уходит, мне становится тепло, почти горячо. Из странных ощущений меня выдергивает крик Маруськи:

– Эй! Санька! Замерзла, что ли?

Шар пропадает. Я выхожу из воды и через минуту обо всем забываю.

...К Крутичам мы с ребятами подошли, когда было уже совсем темно. У Сохи не спали, в доме горела керосиновая лампа.

– Нас точно отсюда не попрут? – озабоченно спросил Шкипер.

– Не бойся. – Я открыла калитку, прошла по расчищенной дорожке между наваленными в мой рост сугробами, постучала в окно. В доме метнулись тени, и на крыльцо выбежала Маруська в ночной рубашке и обрезанных валенках на босу ногу.

– Санька, это ты?! – поразились она. – Чего это ты среди недели, случилось что? Степаныч здоров?

– Здоров. Я с людьми тут.

Ребята подошли ближе. Первое, что я увидела, – ошалелые глаза Шкипера. Он молча смотрел на Маруську. Лампа была у нее за спиной, и ночная рубашка высвечивалась насквозь, но Маруська, изумленно разглядывающая чужих людей, этого не замечала.

– Закройся, дура, – шепотом сказала я.

Маруська спохватилась и юркнула в дом, на ходу крича:

– Егоровна, тут Санька стадо какое-то привела!

– Вот это я понимаю! – восхищенно сказал Ибрагим. – Вот это герла! Буфера у ней что надо, а, пацаны? Шки-и-ипер, ну что такое? Я ж так, к слову...

– К слову, я тебе сейчас откручу... – Что именно он открутит, Шкипер указал конкретно, на этот раз не постеснявшись меня.

Ибрагим открыл было рот, но тут на пороге появилась Соха и жестом пригласила нас внутрь.

Оказавшись в доме, я первым делом протянула письмо от деда. Соха отошла с ним к освещенному лампой столу, не спеша надела очки и принялась читать. Ребята, не зная, что им делать, стояли у порога. Маруська, уже успевшая одеться, копошилась за печью, гремела кастрюлями, разогревая на всякий случай ужин. Я была уверена, что после просьбы деда Соха не выгонит непрошенных гостей. И действительно, скоро прозвучало сухое:

– Раздевайтесь. А с тобой что?

Вопрос был адресован Шкиперу, но посмотрела Соха на меня. Я поняла, что в электричке počуяла правильно, и кивнула.

– Ничего со мной, – помолчав, сказал он.

– Врешь. Покажи. Хуже не будет.

– Незачем.

– Тогда пошел вон. Утром поезд на Москву будет.

Шкипер покраснел, это было заметно даже при слабом свете лампы, на скуле его зло дернулся желвак. В какой-то момент мне показалось, что он действительно развернется и уйдет.

– Пашка, не дури, – подал голос молчавший до сих пор Боцман. – Покажь ей.

– Поучи дедушку какать... – проворчал Шкипер, но видно было, что он уже сдается. Неприязненно поглядывая на Соху, он сбросил зимнюю кожаную куртку, морщась, стянул сви-

тер грубой шерсти, под которым оказалась не первой свежести тельняшка, запачканная к тому же возле левого плеча бурой грязью. Я поняла, что это за грязь, когда Шкипер снял тельняшку, представив нашим взглядам кое-как намотанные, почти черные бинты.

– Давно? – спросила Соха.

– Неделю. Нет... Больше уже.

– Идиот.

По лицу Шкипера было видно, что идиотом его не называли очень давно. Но пока он думал, как ответить наглой бабке, Соха подошла ближе и осмотрела бинты.

– Все засохло, отмачивать надо. Санька, давай.

Я вздохнула и пошла наливать из чайника в таз теплую воду. Сумрачный Шкипер уселся на табуретку, я устроилась рядом и мокрой ватой начала отмачивать бинты.

Засохло все действительно намертво, и через полчаса Шкиперу надоело.

– Рви так. Осточертело, спать хочу.

– Ты что?! – испугалась я. – Больно будет очень!

– Плевать, рви.

Я колебалась, и тогда Шкипер отстранил мою руку, взялся за отставший, грязный и мокрый край бинта и дернул изо всех сил. Мы с Маруськой хором ахнули, Шкипер хрипло выматерился. Его смуглое лицо стало серым. Из длинной, воспаленной, местами загноившейся ножевой раны хлынула кровь.

Я приложила руку. Через минуту кровь унялась, Шкипер озадаченно уставился на меня, а Соха резко сказала:

– Почему не слушаешься? Пороть тебя некому!

– То-то и оно, мать, что некому, – попытался пошутить Шкипер, но на лбу его выступила испарина, и я видела, как ему плохо. Все же он спросил у меня:

– Как ты это делаешь, дитё?

– Молча, – сердито сказала я. Намазала чистый бинт приготовленной Маруськой массой из распаренной травы, прикрыла ее другим бинтом, наложила повязку. Шкипер скрипел зубами, терпел. Из-за стола сочувственно поглядывали Боцман и Ибрагим. Последний не удержался:

– Санёк, а ты трипак случаем вылечить не можешь?

– А что это? – искренне удивилась я, будучи совершенно неиспорченным ребенком.

– Ну что, мне встать, падла? – процедил сквозь зубы Шкипер. Но вставать ему не пришлось, потому что Боцман без лишних слов дал Ибрагиму подзатыльник, от которого тот чуть не свалился под стол.

– Шкипер, чего он?!

– Заткнись, не то добавлю. Жрите и ложитесь. Достали, гады...

Я погладила его по затылку, успокаивая. Шкипер вздрогнул. Ничего не сказал, опустил голову и до конца перевязки молчал. Молчали и ребята. Без разговоров они уплели котелок картошки с солеными огурцами (Шкипер есть не стал), Соха выделила им по сто грамм, после чего весь дом заснул. Хозяйка влезла на теплые полаты, Маруська сдвинула свою подушку к стене, освободив мне половину кровати, гости все втроем растянулись на полу, где Маруська постелила им на половиках и одеялах: больше места не было.

Я заснула быстро, но почти сразу проснулась от шороха одеяла рядом с собой. В окно светил зимний месяц, на полу лежали серые пятна света, в одном из них отчетливо была видна мышь, теребящая корку. Сильно пахло травой и почему-то сигаретами. Из-за двери слышался ровный храп, причем особенно выделялись многоступенчатые рулады Сохи. Маруська, откинув одеяло, тихо перелезала через меня. Я притворилась спящей.

Соскользнув на пол, Маруся босиком прокралась к двери. Мышь метнулась под кровать. Вытянув шею, я увидела в темноте соседней комнаты красный огонек. Кто-то не спал и курил.

– Чего коптишь в доме? – донесся до меня сердитый Маруськин шепот. – Егоровна заругается, хату всю провоняешь, она не любит...

– Извини, – огонек сигареты исчез.

– Что не спишь? Болит?

– Есть немного.

– Счас Саньку разбужу, она снимет...

– Не трожь дитё-то. Сама сделай.

– Дурак, я не умею.

– Что так? Я думал, вы все тут ведьмы.

– Сам ты ведьма!

Тишина.

– Что ж тебя бабка не научила?

– Этому не научишь. Это как мозги – или есть, или нет. Санька вот может... А Соха мне не бабка вовсе. Она меня знаешь где нашла?

Тут Маруся совсем понизила голос, и я долгое время ничего не слышала.

– Сколько тебе лет? – вдруг спросил Шкипер.

– Двадцать. А тогда было двенадцать.

– Хм... И за что мотала?

– Отчима табуреткой по кумполу шарахнула. Кто ж знал, что он, гнида такая, скопытится? Трояк дали по малолетке. Пятнадцати лет откинулась с зоны, сижу в Калуге на вокзале и куда идти, не знаю. Не домой же ехать к матушке! После того как ее единственненького, ненаглядного любочку жизни лишила... Тьфу. А Егоровна ко мне сама подошла.

– То есть ты здесь...

– Шестой год.

– Хреново, сестра.

– Да нет, не очень. Она добрая, Егоровна, вообще-то. Только вот... – Маруся снова перешла на шепот. Шептала она долго, то горячо, то еле слышно. В середине ее речи Шкипер, несмотря на запрет, снова щелкнул зажигалкой. Прикуривал он почему-то долго, и я, замерев, смотрела на его освещенное красным огоньком лицо с опущенными глазами. Мне показалось, что он чем-то смущен. А Маруся все шептала и шептала, не могла остановиться. Наконец она умолкла. В лунном пятне я видела тени Шкипера и Маруськи: он лежал, оперевшись на локоть, она сидела рядом. Вдруг тени зашевелились, Шкипер сел и, к моему удивлению, обнял Маруську за плечи. К еще большему моему недоумению, она не отстранилась.

– Слушай, сестра... – снова донесся до меня его задумчивый голос. – Все понимаю. Сукой буду, если не понимаю. Я сам на просушке недели бы не протянул, а тут пятерик... Только не сегодня, лады? Болит все. Могу не потянуть, тебе это надо?.. Вот завтра оклемаюсь – и засажу тебе как положено, довольна будешь. – Снова минутная пауза. – А хочешь, вон Ибрагима пну? Он не хуже моего...

– Сволочь! – вдруг выругалась Маруся. Вскочила было, но Шкипер поймал ее за руку.

– Пусти, гад!

– Сестра, ну ладно тебе... Ну, чего ты? Я ж как лучше хотел. Завтра, лады? Клянусь, все на ура прокатит.

– Лады, – буркнула Маруся. Оттолкнула руку Шкипера, встала и ушла. Перелезла через меня; тяжело дыша, упала лицом в подушку. Я старалась не шевелиться. Маруся плакала. В соседней комнате по-прежнему горел огонек сигареты.

На другой день рано утром я уехала в Москву.

Ребята прожили у Сохи до весны. Я, как обычно, время от времени приезжала в Крутичи, привозила продукты, которых в деревне было не купить (стояли годы перестройки, в магазинах не задерживался даже сахар), новые книги для Сохи, письма для нее же от деда. Боцман и Ибрагим добровольное заключение переносили тяжело. Заняться им было нечем, не было даже работы – разве что почистить снег, притащить воды из колодца да раз-другой съездить в лес за дровами. Телевизора Соха не имела, старый приемник хрипел, булькал и передавал только местные калужские новости. Хорошо, что у меня нашлась колода карт, и мы со Шкипером однажды научили двух его приятелей-страдальцев игре в покер. От скуки не мучился только Шкипер: в его распоряжении была Маруська и книжные полки Сохи, причем второе его явно интересовало больше. Читал Пашка много, но беспорядочно: в один выходной я видела у него «Графиню де Монсоро», а через неделю он уже страдал над «Войной и миром», которую, к слову, так и не осилил, сломавшись, как и многие до него, на философских рассуждениях Толстого.

Как-то раз я его спросила:

– Федор тебе кто был?

– Кто надо, – сухо сказал Шкипер.

Но я, по молодости лет, не почувствовала, что надо заткнуться.

– Он же отец твой был, да? Чего он тебя не заставил хоть восемь классов кончить?

– Другие дела были.

– А мать у тебя есть?

– Есть на жопе шерсть.

Я надулась. Встала, чтобы уйти, но Шкипер улыбнулся. Улыбка сильно меняла его, пугающее впечатление от светлых холодных глаз на темном лице пропадало, он сразу становился моложе своих лет.

– Ладно, извини.

– Проехали... У меня Степаныч знаешь как говорит? «Меньше знаешь, лучше спишь».

– Наш человек, – одобрительно заметил Шкипер.

Инцидент, таким образом, был исчерпан. Вместо злополучной «Войны и мира» я привезла ему кассилевскую «Кондуит и Швамбранию», предусмотрительно вырвав титульную страничку с указанием «для среднего школьного возраста», и шкиперовское ржание в течение всех выходных выводило из себя Ибрагима и Боцмана, не разделявших его удовольствия.

Маруська бегала довольная – хотя впоследствии призналась мне, что, помимо Шкипера, спала изредка и с ребятами: чтобы те не слишком завидовали ближнему. Шкипер не возражал, не желая конфликтовать с корешами, каждому из которых тогда было немногим больше двадцати, и длительное воздержание вкупе с вынужденным бездельем могло плохо сказаться на их адекватности. Соха, кажется, знала обо всем этом безобразии, но не вмешивалась. Скорее всего, понимала, что так лучше всем.

В конце марта ребята уехали – не сказав куда. Помню, Маруська выла, как паровоз, бросалась на стены и орала, что никого лучше Шкипера у нее не было. Хотя, кажется, у нее вообще никого больше не было. Я посочувствовала ей, но довольно быстро обо всем забыла.

Через год я закончила восемь классов и по настоянию деда подала документы в медицинское училище. Поступив туда без проблем и с легким сердцем забросив сумку с учебниками на шкаф, я поехала на каникулы к Сохе, в сентябре вернулась в Москву и с энтузиазмом взялась за учебу. Но уже через два месяца меня стошнило в анатомическом театре, я пришла домой желто-зеленая, кинула в угол учебники и заявила деду, что никогда, ни при каких обстоятельствах не буду добровольно смотреть на вывернутые человеческие кишки.

С одного взгляда Степаныч понял, что это не обычный каприз. Растерянно сел на табуретку, накапал себе пустырника в рюмку и спросил:

– А что же ты делать собираешься? Куда пойдешь учиться?

– Не знаю...

Дед выпил пустырник, побряхтел – и стукнул кулаком в стену, призывая соседку тетю Ванду, мать Милки. Та пришла через пять минут.

– Что случилось, Степаныч? Девочка, ты что такая бледная, заболела?

Дед коротко изложил события. Тетя Ванда нахмурилась. Я, сердитая, с остервенением пилила в раковине мороженое мясо на ужин. Наконец тетя Ванда неуверенно предложила:

– Может, ее к нам пока?

– Это куда – к вам? – насторожился дед.

– К нам, в ресторан. Вчера Карпыч жалился, что на пианино играть некому, а Санька все-таки музыкальную школу закончила...

– Ну знаешь, с ума ты сошла! – взвился дед, уронив рюмку с остатками пустырника. – Саньку – в ресторан? Перед жульем пьяным кривляться?!

– Ну и что?! – воинственно переспросила тетя Ванда, уперев кулаки в бока. – Я сама всю жизнь там кривляюсь! И девки мои! И, слава богу, все честными замуж повыходили, меня до сих пор за них свекрови благодарят!

– Вы – цыгане!

– А Санька твоя кто?! Чернее всех моих в пять раз! С пеленок с нами, я ее кормила, растила, на все свадьбы-крестины с собой брала, никому из цыган и в голову не пришло, что не наша! Отпусти ее, Степаныч, девка денег заработает! А я там за ней, как за своей, смотреть буду, не беспокойся. Ни одного ферта не подпущу.

– Не место ей там, не место! – не мог успокоиться дед.

– А где ей место? На шее у тебя? Девка взрослая, самой пора зарабатывать. Она и может, и хочет, и сумеет, а ты тут из себя министра строишь!

– Да ты ее спроси, она пойдет?!

– Пойду, – хмуро сказала я. Выбирать, особенно после слов о сидении на дедовой шее, было не из чего.

Тетя Ванда была права: маленькой я практически жила у соседей. Дед работал, возвращаясь из школы в огромную пустую квартиру и сидеть одной до темноты мне было страшно, и я напрямик из школы шла с Милкой к ней домой.

У цыган всегда была полная квартира народу, толклись, кроме своих четверых детей, какие-то племянники, двоюродные-троюродные братья и сестры, тетки и дядьки, зятья, невестки и прочая родня. Мы с Милкой входили в квартиру – и нас сразу же сажали за стол. Мы с Милкой уписывали за обе щеки борщ, картошку, котлеты, а дед Килька сидел напротив и по-деловому расспрашивал:

«Ну, и чему вас там в школе учили сегодня? Как женихов искать? Как „другому“?! Чему другому?! Да зачем вам это другое надо-то? Морочат зачем-то голову девкам...»

Я прыскаю, Милка серьезна. Учится в школе она только по настоянию отца и точно знает, что после восьмого класса оставляет учебу, выходит замуж и начинает по-настоящему работать в отцовском ансамбле. Пока же ее только изредка берут на концерты, и на другой день, выходя к доске, Милка томно зевает и заявляет:

«Таисия Петровна, я ведь с ночи, работала, как каторжная... Ну какие отношения синусов, господи?...»

Бедная математичка только вздыхает:

«Ну, ладно, Туманова, садись. Издеваются над ребенком, не родители, а...»

«Ребенок», тщательно удерживая на лице выражение казанской сироты, идет на место и, садясь, весело толкает меня в бок локтем:

«Джидэ яваса – на мэраса!»¹

По-цыгански я говорю свободно с детства. Никто меня нарочно не учил этому, просто в какой-то день я сообразила, что понимаю все: приказания тети Ванды на кухне (я всегда приходила помогать, если в доме ожидались гости), глубокомысленные речи деда Кильки, разговор Милки с сестрами, беседу гостей... Потом заговорила сама, и никто этому не удивился, потому что тетя Ванда, кажется, всегда считала меня одной из своих дочерей. Во всяком случае, когда в двенадцать лет у меня начались месячные, я, до смерти перепуганная, с диким ревом кинулась прямо к тете Ванде, и именно она в двух словах объяснила мне, что такое женская физиология и как с ней справляться. У тети Ванды я училась варить еду в немислимых количествах, шить, мыть окна, заполнять квитанции коммунальных услуг, отбиваться от нежелательных ухаживаний, укладывать спать пьяных и буйно настроенных мужчин, а также иметь в виду: мужчина всегда свободен, а женщина всегда за все отвечает.

Долгое время я была уверена, что тетя Ванда самая эффектная женщина в мире. Она была красива индийской красотой, темной и горячеей, ей не хватало только сари и точки между бровями, чтобы сниматься в бомбейских мелодрамах. До сих пор вижу, как она стоит в своем вишневом домашнем платье и фартуке возле раскаленной плиты, на которой булькают две кастрюли, сковородка и ковшик с молоком, на одной руке сидит ревущий полугодовалый внук, в другой поварешка, и командует:

– Любка, где лук? Санька, подай соли! Милка, начисть еще шесть картошек! Да где там Васька с помидорами?! Петька, Ваську с помидорами позови! Не дети, а проклятье моей молодости! Катька, где все ножи?!

Мы – четыре девчонки – носимся как ошпаренные: дел много, вечером ожидаются гости. Катерина в облаке пара у раковины моет посуду, я шинкую капусту, Милка ловко, как солдат в наряде, ошкуривает в огромную миску картошку, крошечная Любка чистит огромную луковичу, а со двора доносятся истошные вопли старшего сына, призывающего младшего:

– Васька! Васька-а-а!!! Васька, живо, умер, что ли, в очереди?! Мама зовет!

Неожиданно Любка взвизгивает и бросает нож, ее рука заливается кровью.

– Полотенце, полотенце приложи! – кричит тетя Ванда. Но Любка ревет во все горло, трясая рукой, по полу кухни разлетаются красные капли, я кидаюсь к ней с мокрым полотенцем – и еще не успеваю его приложить, а кровь уже успокаивается. Через минуту вместо длинного пореза на маленькой ручонке лишь едва заметная царапина. Любка еще всхлипывает, но видно, что боли больше нет. Милка изумленно таращит глаза, забыв о картошке. Тетя Ванда переводит взгляд с младшей дочери на меня. Медленно крестится. Осторожно спрашивает:

– Как ты это делаешь, девочка?

Я еще не догадываюсь, что буду слышать этот вопрос всю жизнь. Озадаченно пожимаю плечами:

– Не знаю. Никак.

Тетя Ванда молчит и качает головой. Забытые кастрюли бешено бурлят на плите.

К вечеру в огромной квартире наступает тишина и благолепие. Еда готова и стоит на длинном кухонном столе, накрытая крышками и полотенцами, по всему дому – запах пирогов и печеной свинины. Паркет натерт до блеска, нигде ни пылинки, огоньки светильников, имитирующих старинные канделябры, отражаются в зеркалах, деках висящих на стене гитар и черной, поднятой крышке рояля. Стол в большой зале покрыт белейшей скатертью, сверкает хрусталем и серебром – старинной посудой тети Ванды, фарфоровые тарелки, ее гордость, прячутся под вышитыми салфетками. Мальчишки и отец выставлены из дома на улицу – встречать гостей. Мы – девочки – сидим в комнате тети Ванды и заканчиваем прихорашиваться.

¹ Живы будем – не помрем! (цыганск.)

Сегодня особенный вечер, сегодня должны сватать Милку, и потенциальная невеста, бледная от волнения, меняет четвертое платье.

– Мама, ну что же это такое?! Кто пятно посадил белому прямо на живот?! Убью я этих крокодилиц!

– Снимай белое, надевай розовое! – командует тетя Ванда со шпильками во рту, заплетая перебирающей от нетерпения ногами Любке косу. – Что хнычешь, глупая, оно к тебе больше идет! Кораллы свои дам надеть, ну, скорее одевайся! Господи, да где эта зараза?! Санька, глянь в окно, не видно? Живет в двух шагах, и хоть бы раз вовремя явилась!

«Зараза» – это старшая, замужняя дочь тети Ванды, Нина, которая должна приехать с мужем и детьми. Без них семья не в полном сборе, а это уже дурной тон. Тетя Ванда нервничает: вот-вот должны прибыть сваты. Я наваливаюсь грудью на подоконник:

– Едут, кажется!

– Фу, слава богу! – Тетя Ванда бросает Любкину прическу и выскакивает из комнаты. Милка мчит за ней, Любка с недоплетенной косой тоже. Я остаюсь на месте и смотрю, как около подъезда паркуется черная «Таврия» и из нее выходит, приглаживая ладонью курчавые волосы, высокий цыган в короткой кожаной куртке. Это муж Нины, Иван. Он открывает дверь для жены, затем выпускает щебечущую стайку детей, закрывает машину. Поднимает голову, смотрит на окна, видит меня, улыбается, показывая крупные белые зубы, и машет рукой. Я кулем сваливаюсь с подоконника на пол, хватаюсь за горящие щеки. Сердце подскакивает к горлу и душит, нечем дышать. Мне четырнадцать лет. Иван Карджанов, муж сестры моей лучшей подруги, отец троих детей, – моя первая любовь, и ни одна живая душа об этом не знает.

Иван происходит из старой семьи артистов, он гитарист и певец в шестом поколении. Некрасив: как у многих цыган, у него резкие черты лица, слишком большой нос, густые брови, почти сросшиеся на переносице. Но когда он поет, это лицо освещается изнутри и неувлимо меняется, в темных глазах появляется странный блеск, а от Ивановой улыбки – грустноватой, словно осторожной, – у меня останавливается сердце.

Нина с семьей входит в прихожую. Пока тетя Ванда негодует, хватается за голову, целует по одному внуков, Нина только улыбается и сбрасывает на руки мужа кожаный плащ – писк тогдашней моды. Я смотрю на нее, не отрываясь. В те годы я бы черту душу продала, чтобы быть похожей на нее. Нине двадцать два года. Из пяти дочерей тети Ванды она самая красивая. У всех сестер Тумановых хорошие волосы, но только у Нины они падают почти до колен, густые, тяжелые, выющиеся. В черных глазах – томная усталость, матовое лицо украшает изящная родинка в углу рта. На Нине черное вечернее платье, подчеркивающее хрупкость фигуры, бриллиантовые серьги искрят голубым и золотистым светом, кольцо с огромным изумрудом – подарок мужа – кажется слишком тяжелым для тонкой кисти с длинными худыми пальцами. Иван смотрит на нее, не отрываясь, не отводит взгляда, вешая плащ жены на вешалку, провожает ее глазами, когда она, разговаривая с матерью, уходит в комнату. Никогда на моей памяти он не смотрел на жену по-другому. Иногда Нина жалуется, что муж слишком ревнив и устраивает ей сцены по поводу и без, но все знают, что она и сама такая же. Они с Иваном живут вместе больше восьми лет и до сих пор безумно влюблены друг в друга. Я тороплюсь скрыться в кухне и, стоя у раковины, залпом выпиваю стакан воды. Мои чувства – мои проблемы, и я в тысячный раз клянусь самой себе, что никто ничего не узнает и даже не заметит. А в прихожей уже хлопают двери, слышится смех, веселые голоса – приехали гости. В кухню пулей влетает Милка, хватая меня за руку и увлекает за собой.

Гостей человек десять, родители, братья и сестры жениха, и, конечно, он сам – худенький мальчик лет шестнадцати, напряженно улыбающийся, с горящими румянцем скулами. Милка стоит чинная и важная, глядит в пол, тербит в пальцах пояс платья. Все здороваются, целуются, рассматривают детей, потом скопом проходят в зал и рассаживаются. Сестры жениха вместе с нами устремляются на кухню – помогать. Так заведено.

Какое-то время и хозяева и гости делают вид, что все это – обычные посиделки. Все пьют, едят, вспоминают общую родню, смеются. Мы мечемся из кухни в комнату с тарелками, бутылками и бокалами, меняем блюда, наливаем вино. Внезапно бас Милкиного отца перекрывает общий гомон:

– Мила! Подай вина нам с Сергей Васильичем!

Наступает гробовая тишина: все понимают, что это значит. Бледная Милка мелкими шажками выходит из кухни, неся давно приготовленный тетей Вандой поднос с двумя хрустальными бокалами, наполненными красным вином. Я вижу, что у нее дрожат губы и поднос качается в руках. Все смотрят, как она идет к столу и с поклоном протягивает поднос отцу и будущему свекру, сидящим рядом. Отец спрашивает:

– Милка, Сергей Васильич тебя за своего Кольку сватает. Честь большая для нас! Пойдешь?

Вопрос задан для проформы: все уже решено. Милка, не поднимая глаз, кивает. Папаши берут бокалы, выпивают, целуются – и тишина взрывается смехом и поздравлениями: Милка просватана. Тетя Ванда вдруг начинает плакать, цыганки кидаются к ней – утешать. Милка выбегает было из комнаты, но ее ловят за подол, вталкивают в круг, начинают играть сразу четыре гитары, и моя подружка начинает танцевать. Жених из-за стола украдкой разглядывает ее, на его мальчишеском лице растерянность. Я смотрю на Милку, которая уже улыбается, такая счастливая, такая нарядная в своем розовом платье, с распущенными волосами, и мне хочется плакать.

Уже поздно-поздно вечером мы с Милкой ставим огромный электрический самовар, завариваем черный как смоль чай, вносим в зал блюда с пирогами, тортом, печеньем. И хозяева и гости устали, уже никто не пляшет. Тетя Ванда вполголоса разговаривает на диване с другими женщинами, мужчины курят прямо за столом, и табачный дым всплывает к потолку. Дети давно спят в соседней комнате. Нина сидит за роялем, небрежно касается клавиш, наигрывая что-то среднее между романсом и «Танго смерти», и я невольно люблюсь ее тонким лицом с опущенными ресницами. Иван сидит за ее спиной, и я знаю, что могу посмотреть на него сколько угодно: в темноте ни он, ни кто-то другой все равно ничего не заметят. У него в руках гитара, Иван извлекает из нее короткие аккорды, подстраиваясь под игру Нины. Она наконец замечает это, поворачивается к мужу; улыбаясь, что-то шепчет. Иван тут же меняет тональность, Нина берет на рояле небрежное арпеджио и вполголоса напевает:

Когда в предчувствии разлуки
Мне нежно голос ваш звучал...

Я смотрю на загадочную полуулыбку Нины, ее дрожащие ресницы, горбоносый Ванькин профиль и его взгляд, устремленный на жену, и у меня перехватывает горло. Я встаю и тихо выхожу на кухню. И уже там реву, реву, уткнувшись в занавеску, горько, безысходно, безутешно, как режут только в четырнадцать лет от несчастной любви. Я знаю, что никогда не буду такой, как Нина. Я знаю, что никто и никогда не посмотрит на меня так, как Иван сейчас глядит на жену. Я знаю, что я похожа на галку, такая же черная, худая и носатая, неудачная копия бабушки Ревекки, что вместо груди у меня – две редиски, что волосы похожи на воронье гнездо и что я никогда, никогда, никогда не выйду замуж – ни за кого, кроме Ивана. А поскольку он женат, то дорога мне одна – в монастырь.

Я была безмолвно влюблена в Ваньку почти пять лет – солидный срок для первой любви. Мы каждый вечер встречались в ресторане, вместе работали до глубокой ночи, и каждый вечер я подвергала себя жесточайшей пытке, выверяя и урезая до минимума каждый взгляд, каждый поворот в Ванькину сторону, следя за каждым своим словом и за выражением лица во время этого слова. С самоконтролем у меня всегда было все в порядке, и о моей тайной страсти не

догадывался не только ее предмет, но даже Милка и тетя Ванда. Последняя как раз в то время пыталась пристроить меня замуж. По цыганским меркам шестнадцать-семнадцать лет было для замужества в самый раз, и при каждом удобном случае тетя Ванда заводила разговор о своих неженатых племянниках, которых у нее было великое множество. Я как можно вежливее отказывалась. Во-первых, я хранила верность Ваньке. Во-вторых, в цыганской семье над невесткой всегда стоит куча командиров, начиная с мужа и кончая дальними родственниками свекрови. У меня был слишком независимый характер и воспитание, тетя Ванда, видимо, это чувствовала и поэтому вздыхала и не настаивала. Так прошло около двух лет, и всего однажды за это время я была, как Штирлиц, предельно близка к провалу.

Это случилось в один из дождливых осенних вечеров, когда Нина примчалась в ресторан за несколько минут до своего выхода, злая, заплаканная, растрепанная, вместе с детьми – и без Ваньки. Усадив свой выводок на банкетку и швырнув в угол сумку с костюмом, она молча, торопливо начала переодеваться, на осторожный вопрос матери о муже отрывисто сказала: «Не знаю, где болтается, мерзавец!» – и нырнула с головой в обшитое пышными оборками красное платье. Было очевидно, что они с Ванькой поругались. Тетя Ванда разохалась. Дядя Коля сердито достал телефон и начал звонить старшему сыну, который должен был подменить Ивана с гитарой. Нина тем временем уже оделась и перерывала сумку в поисках туфель. Они не находились, и через минуту стало ясно, что Нина забыла их дома. Выругавшись, она скомкала пакет, швырнула его в угол, посмотрела на часы, на мать, на сестер и остановила взгляд на мне:

– Санька, у тебя же через час только выход?

– Да. Но я хотела...

– Санечка, не в службу, а в дружбу, сбегай ко мне за туфлями, а? Мне же сейчас пять через минуту, я в сапогах постою, а плясать-то попозже как?! Сбегай, ради бога!

Я кивнула и быстро начала собираться. Услуга была небольшой, Нина с Иваном жили тогда всего в десяти минутах ходьбы от ресторана. К тому же я настолько обожала Нину, что была готова бежать по ее просьбе на другой конец города. Заверив встревоженную тетю Ванду, что я непременно вернусь к своему выходу, я выбежала за дверь.

Через четверть часа я была на месте, пешком взбежала на третий этаж, достала связку ключей, которые дала Нина, открыла дверь. В квартире было темно, я зажгла свет в прихожей, сразу же увидела пару черных туфель, стоящих на низком столике рядом с телефоном, сунула их под мышку... и тут же выронила, потому что из глубины темных комнат услышала знакомый голос:

– Нинка, ты?

– Ивано?! – растерялась я. – А я думала, тебя нет... Я за туфлями, Нина просила, сейчас уйду...

Ванька, жмурясь от света, вышел в прихожую. Он был в джинсах и свитере, но волосы его были взлохмачены, на щеке отпечатался рубец подушки. Я подозрительно втянула носом воздух.

– Здра-а-вствуйте... Ну, молодец! Нашел время! Все, ложись спать, я побежала... – Я шагнула было за порог, но Иван неожиданно догнал меня и, дернув за руку, остановил.

– Ванька, ты что?! Я спешу, мне выходить через... Ванька!!! Что ты делаешь?!

Впервые я была так близко от мужчины моей мечты. И даже осознание того, что он вдрызг пьян, не сумело остановить моего мгновенно запрыгавшего сердца. Нужно было вырываться, бежать прочь, а я стояла, как заколдованная, глядя в упор на приблизившиеся, черные, шальные глаза, которые уже несколько лет не давали мне спокойно спать.

– Ванька, что ты, бог с тобой... – только и сумела пролепетать я.

Он усмехнулся, прижал меня к стене, тяжело навалившись всем телом, – и поцеловал. Раз, другой, третий...

Голова у меня пошла кругом. Я была близка к обмороку еще больше, чем в медучилище при виде вывернутых кишок. От полной утраты здравого смысла меня спас идущий от Ваньки мощный запах перегара, никак не вязавшийся с романтическими чувствами.

– Пош-шел вон, свинья! Совсем стыд потерял! – Я оттолкнула его, схватила с пола упавшие туфли и бросилась за порог.

Ванька что-то крикнул мне вслед, но я не остановилась.

Это был первый в моей жизни поцелуй. Поцелуй любимого мужчины. И даже то, что этот мужчина был напившимся чужим мужем, не испортило мне впечатления. Отработанной в ресторане ночи я совершенно не помнила, до утра не смогла заснуть, весь следующий день проходила как в чад и немного успокоилась лишь к вечеру, когда опять нужно было идти работать. Я отчаянно надеялась на то, что, проспавшись, Ванька ничего не вспомнит, и, судя по всему, так оно и было. В ресторан он пришел вместе с сурово молчащей Ниной, мрачный, но абсолютно трезвый, мельком скользнул по мне взглядом, сквозь зубы поздоровался со всеми, сел настраивать гитару, и я вздохнула с облегчением. Моя любовь по-прежнему оставалась моей тайной.

Осень, ноябрь, дождь за окном, первый час ночи. Народу в ресторане мало, через полчаса мы должны закрываться, на крошечной эстраде допевают романс Ванька с женой, а я слушаю их пение, переодеваясь в крошечной гримерке. Обычно я играю на рояле, но сегодня нет Милки, которая сидит дома с больным сыном, и я заменяю ее. Плясать я умею не хуже любой цыганки, пою не так хорошо, но при необходимости сделаю и это.

С грохотом открывается обшарпанная дверь с плакатом Ван Дамма, внутрь заглядывает дядя Коля и шипит:

– Ты чего копаешься? Живо на эстраду, там целая компания прибыла... Шевелись, курица! Оч-чень большие люди...

Мне остается только повиноваться.

«Очень больших людей» было пятеро – четверо мужчин, одна женщина. Они заняли большой стол у дальней стены, там было темно, и лиц пришедших я не видела. Вылетев на эстраду, я тут же пристроилась подпевать Нине и тете Ванде. Дядя Коля и Ванька были «на гитарах», злой с похмелья дед Килька терзал скрипку. Метрдотель Карпыч мялся у дверей и строил нам зверские рожи, из которых мы должны были понять, что приехавшие гости должны быть обслужены по высшему разряду.

– Ах, черт, Милку бы... – сетует шепотом дядя Коля. – Ну, ладно... Санька, па-а-ашла!

За спиной гитары ударяют веселую песню, тетя Ванда и Нина дружно запевают, я развожу руками, кланяюсь, улыбаюсь и иду плясать для гостей. Танец мой давно отработан, движения доведены до автоматизма, плечи, руки, ноги ходят сами по себе, и я, не беспокоясь о впечатлении, рассматриваю гостей. Женщина выглядит усталой и рассерженной, на меня не смотрит, сидит, подперев голову с тяжелым узлом бронзовых волос рукой, и что-то тихо говорит мужчине рядом. Она кажется мне почему-то знакомой, но из-за полутьмы я не могу рассмотреть ее лицо лучше. А гитары учащают ритм, я повожу плечами, подхожу в танце к столу и радуюсь, видя, как один из гостей лезет во внутренний карман.

Но вдруг рука гостя опускается. Он подается вперед, всматриваясь в меня, делает знак, чтобы я приблизилась. Я широко улыбаюсь, подхожу. Вижу смуглое лицо и светлые, холодноватые глаза. Слышу удивленный, страшно знакомый голос:

– Твою мать... Санька?!

– Шки-и-ипер...

Он совсем не изменился. Разве что выглядел поприличнее, и я была вынуждена признать, что дорогой костюм и «Ролекс» на запястье были ему к лицу. Женщина рядом с ним тоже улыбнулась, протянула: «Бо-оже мой, Сашуля...», и я сразу же узнала Татьяну – послед-

нюю любовницу Федора, которая четыре года назад привела Шкипера в наш дом. Рядом, разумеется, сидели Боцман и Ибрагим. Боцман был все такой же огромный, с двухдневной щетиной, ничуть не удивившийся при виде меня. Ибрагим первым делом хлопнул меня по мягкому месту, заржал, и я поняла, что и он все тот же.

Четвертый был мне незнаком. Он был заметно моложе остальных, ему было около двадцати, очень смуглый, темнее Шкипера, но не кавказского типа, а скорее напоминающий наших цыган. Черная рубашка еще сильнее подчеркивала эту смуглоту, в вырезе мелькала золотая цепь с крестом, темные узкие глаза лениво смотрели на меня, улыбка показалась мне неприятной. Над правой его бровью тянулся шрам. Он со мной не поздоровался, и представлять нас друг другу тоже никто не стал.

Когда восторги от встречи улеглись, Шкипер недоверчиво спросил:

– Так ты цыганкой работаешь? Блин... а я думал, доктором будешь.

– Дед тоже так думал, – неохотно сказала я. – А я внутренностей боюсь.

– Чего их бояться-то? – искренне удивился Шкипер. – Ну, и как тут? Не обижает никто?

Слушай, какая ты здоровая стала! Тебе сколько сейчас, шестнадцать?

– Семнадцать. Шкипер, извини, мне работать надо.

– Так, кроме нас, нет никого! Давай садись, я за тебя заплачу...

– Чего?!!

– Да нет, только чтоб посидела... На кой ты мне нужна, пигалица, у меня смотри кто есть! – Он с довольной улыбкой погладил Татьяну, которая хоть и оттолкнула его руку, но улыбнулась снисходительно.

– По наследству получил? – не удержалась я.

Татьяна скривила губы, Шкипер сделал вид, что не понял, и снова пригласил:

– Давай, дитё, садись с нами.

– Нельзя... Не положено. – Я говорила правду, цыганки и в самом деле никогда не садились за стол к гостям.

– Ну и черт с тобой, я не гордый, сам встану. – Он поднялся из-за стола и подошел ко мне. – Поговорить-то можно, не зарежут? Давай рассказывай, как Степаныч? Как Соха, жива еще? Маруська все при ней?

– Прикусись... – Я покосилась на Татьяну. Та сидела, поджав губы и глядя в сторону, но Шкипер и не подумал понизить голос:

– Да я все собирался денег ей послать, так адреса не знал! Названия той деревни и то не запомнил. Как она, замуж не вышла?

– За кого там выходить?... Сам-то как? Вижу, весь козырный.

– Не жалуемся пока, – усмехнулся Шкипер. – А вы все там же, на Северной? В гости как-нибудь заскочить можно?

– Заходи.

– Ну, ты выросла, мать... – он осмотрел меня с ног до головы. Я, немного смущенная, отступила на шаг, про себя порадовалась, что прилично выгляжу: желтое платье с черными оборками, распущенные волосы, помада, серьги, блестки...

– Сашка, со лэскэ трэби? Яв адарик!² – сердито позвал меня Ванька. Я вздрогнула, резко повернулась, почувствовав себя так, словно только что бесстыдно кокетничала на глазах у жениха или мужа.

Шкипер, словно угадав мои мысли, спросил:

– Это, что ли, мужик твой?

– Не мой, – улыбнулась я.

– А чего хочет тогда?

² Сашка, что ему надо? Иди сюда! (цыганск.)

– Мне работать надо. – Я протянула руку.

Шкипер понимающе кивнул, и на ладонь мне легла зеленая бумажка.

– Что ты, это много... – взглянув на нее, испугалась я.

– Не учи дедушку какать. Знаю ведь, на всех растырбаните.

Это было правдой. Заработок в ресторане делился на всех, и моя бумажка тут же перекочевала в карман дяди Коли. Нина подошла к микрофону, Ванька встал с гитарой за ее спиной, негромко вступила скрипка.

«Осень, прозрачное утро, небо как будто в тумане...» – поплыла по залу мелодия старого танго. Я повернулась, собираясь было сесть за рояль, но неожиданно из-за стола поднялся черноволосый, незнакомый мне парень и, сумрачно улыбаясь, протянул мне руку. Обалдевшая, я поняла, что он приглашает меня танцевать.

– Жиган... – медленно сказал Шкипер.

Парень тут же остановился, вопросительно взглянул на него. Но Шкипер подумал, кивнул, взглянул на меня и слегка улыбнулся. Пока я соображала, что же мне предпринять, Жиган увлек меня на середину зала и повел. В ритме танго.

С первых шагов я поняла, что танцует Жиган прилично: по крайней мере, лучше меня. В бальных танцах я была полной дилетанткой, но вел он уверенно, и я кое-как сумела подстроиться под его движения. Цыгане от растерянности продолжали играть. Мне очень хотелось поглядеть на Ваньку, но я боялась это сделать, понимая, что упущу такт. Позже Шкипер уверял меня, что все выглядело «как в кино», но я-то точно знала, что танцую плохо, и скептическая, неприятная улыбка Жигана была тому подтверждением.

– Поставь на место, пока не повалил... – сквозь зубы сказала я.

– Щас... – ухмыльнулся он. И запрокинул меня назад. Ух! – метнулись перед глазами огни ламп, натертый паркет приблизился, дыхание остановилось на миг. А Жиган уже дернул меня на себя, развернул и штопором запустил через весь зал. Как я сумела не только удержаться на ногах, но и бодро пританцевать обратно в его руки – до сих пор не понимаю. К счастью, музыка вскоре закончилась, Жиган довел меня, едва живую, до стула, и плюхнулся рядом.

– Ну, и что это за кордебалет? – несколько озадаченно поинтересовался Шкипер. – Где ты этого нахватался?

– Места надо знать, – туманно пояснил Жиган.

Я пыхтела, как паровоз, перед глазами плыли зеленые круги, но все-таки я успела заметить, как Татьяна и Жиган обменялись взглядами. Много лет спустя я узнаю, что год назад Жиган охранял любовницу шефа в каком-то захолустном доме отдыха, пока Шкипер вел войну с очередной кавказской группировкой. Делать там было нечего, и со скуки Танька, выпускница хореографического училища, научила своего телохранителя танцевать танго и вальс. Учеником Жиган оказался способным и впоследствии признавался мне, что танго безотказно действует на баб.

– Санька, тукэ трэби те утрадэс...³ – обеспокоенно крикнул мне дядя Коля.

Цыгане часто отправляли молодых артисток домой через задний ход – если гости ресторана становились слишком настойчивыми. Я тут же поднялась и пошла к выходу.

– Ты куда? – удивился Шкипер.

– Воды попить.

– Воды? – Он, конечно, все понял, усмехнулся, но задерживать меня не стал. – Ну, лады, увидимся еще.

Ни он, ни я не подозревали, как скоро это случится.

³ Санька, тебе нужно уезжать (цыганск.).

Тридцать первое декабря. Полдвенадцатого вечера, за окном в свете фонаря летит снег, маленькая, забытая мной елка обиженно поблескивает в углу. Я сижу одна, совершенно несчастная, и смотрю в окно на пустую улицу. Главная беда в том, что все наши работают, сегодня как раз та ночь, которая год кормит, ресторан будет переполнен, а у меня, как на грех, температура под тридцать девять и страшно дерет горло. Мало того, сегодня работает и дед, новогоднее дежурство оплачивается в тройном размере, а у нас со Степанычем не те доходы, чтобы этим пренебрегать. Таким образом, я сижу одна, телевизор сломался еще осенью, на столе чай с баранками (торт и колбасу мы съедим с дедом завтра, вместе), настроение препаршивейшее, и я всерьез думаю: не лечь ли спать.

На заснеженной улице – ни души, все дома, жуют салаты и смотрят праздничный концерт в ожидании речи президента, снег летит все гуще, превращаясь в сплошную пелену. Неожиданно я вижу, как из этой пелены проявляются две черные иномарки. Они вылетают из соседнего переулочка и, взбив снежный вихрь, останавливаются внизу прямо у нашего подъезда. Я наваливаюсь грудью на подоконник, стараюсь рассмотреть машины, но за козырьком подъезда мне почти ничего не видно. Заинтригованная, я прикидываю, к кому в нашем нищем доме могли приехать такие гости. Разве что к цыганам, но у них – никого... В это время раздается долгий звонок в дверь, и у меня от испуга подскакивает к горлу сердце. Я бегу в прихожую.

– Кто... там?..

– Санька, ты? Открой.

Голос кажется мне знакомым. Я открываю дверь. Вижу Шкипера. Он не один: за его спиной, в темноте, какие-то тени.

– Степаныч дома? – не здороваясь, хрипло спрашивает он.

– На дежурстве.

– Хреново... Так ты одна?

– Да... – Я ничего не понимаю. – А что случилось?

Шкипер молчит. На его лице – досада пополам с озабоченностью, он явно не знает, как поступить. Я вытягиваю шею, пытаюсь разглядеть его спутников, но те еще дальше отодвигаются в тень.

– Шкипер, в чем дело? Зайдите хотя бы!

– Ну ладно, – наконец решается он. – Мужики, давайте живо... заносите.

Я отступаю в прихожую, прислоняюсь к стене: голова горит и кружится от высокой температуры. В странном оцепенении я наблюдаю, как Шкипер широко открывает дверь, входят Бецман, Ибрагим, и за ними двое незнакомых мне парней вносят третьего. Лица его я не вижу, потому что не отрываясь смотрю на красные круглые капли, падающие на потертый паркет: шлеп... шлеп... шлеп... Как в полусне слышу, что Шкипер командует:

– Ибрагим, живо вниз, засыпь кровину, отгони машины. Куда-куда, куда хочешь! Хоть с набережной сбрось! Санька, где можно положить?

– Несите в комнату, – словно со стороны слышу я собственный голос. Кидаюсь впереди мужчин, зажигаю свет. Раненого бережно опускают на кровать, и я вижу, что это Жиган. Он абсолютно неподвижен, смуглое лицо известкового цвета, дыхания не слышно. Я торопливо расстегиваю простреленную кожаную куртку, хватаю со стола ножницы, разрезаю отяжелевшую от крови рубашку, майку. Шепотом спрашиваю:

– Выстрелили в грудь?

– Так точно... Навылет, пуля в машине выпала.

– Он живой?

– Кажется, нет уже, – отрывисто говорит Шкипер. – Прости, сестренка. Везти больше некуда было, мы здесь, рядом, на Марксистской влипли...

Я, не слушая его, прижимаюсь ухом к мокрой от крови груди. Долго вслушиваюсь, но сердцебиения не слышу. Мне мешают музыка, дикие вопли и топот соседей сверху: кажется, Новый год уже наступил...

– Что будешь делать, Шкипер? – глядя в стену, спрашивает Боцман. – Его убирать отсюда надо. И деда, и девчонку засветишь...

Я стою рядом с кроватью и стараюсь не упасть в обморок. Не от страха, который я почувствую гораздо позже, а от страшного головокружения и боя в висках. Мысль только одна: слава богу, что Степаныча нет.

И вдруг Жиган открывает глаза. Черные, узкие, совершенно ясные глаза, и глядит на меня в упор. Я ахаю, у Шкипера срывается короткое матерное слово. Жиган не видит его, он смотрит на меня. Спрашивает:

– Детка, я что, помер, что ли? – И, помолчав: – Ни в жисть не поверю.

Тут же он снова теряет сознание, глаза закрываются, голова чуть запрокидывается.

– Кончается... – тихо говорит Боцман.

Я не отвечаю, потому что вдруг вижу свой зеленый шар – тот, который представляю себе каждый вечер перед сном, считая это забавой. Почему-то он не превращается, как всегда, медленно-медленно в мячик, а сразу становится размером с сияющее колесо. Я поворачиваюсь к Шкиперу, но не вижу его лица: перед глазами качается зеленый шар, и голоса своего я тоже не слышу:

– Быстро таз воды мне! И все вон отсюда!

Шкипер что-то изумленно переспрашивает, но я, не отвечая, сажусь рядом с Жиганом, перекалдываю его голову себе на колени. Вскоре появляется большая кастрюля с водой, и... больше я уже ничего, к сожалению, не помню.

Когда я пришла в себя, то сразу увидела... Соху. Она сидела за столом вполоборота ко мне и читала книгу. Был день, окно светилось тусклым зимним солнцем, елка в углу поблескивала мишурой.

– Здравствуй, Егоровна. А... что случилось? – Я села на кровати. Соха встала. Аккуратно заложила книгу закладкой и подошла ко мне. Чуть ли не впервые в жизни я увидела, как она улыбается.

– А, очулась... Помнишь что-нибудь?

Нет, я решительно ничего не помнила.

Соха села рядом со мной на кровать и принялась рассказывать.

Когда дед ранним утром вернулся с дежурства, он застал дома впечатляющую картину: заляпанный кровью пол, спокойно спящего Жигана с весьма аккуратно перевязанной грудью, меня без чувств и совершенно ошалевших от увиденного Шкипера с компанией, которые не знали, что им предпринимать. Дед схватился за сердце, кинулся ко мне, убедился, что я жива, но в глубоком обмороке, принял стакан пустыря и призвал Шкипера к ответу. Тот пояснил ситуацию, прибавив, что я остановила кровь, сделала перевязку, уложила Жигана и лишь после этого «улеглась аккуратно и отключилась». Но больше всего напугало Шкипера и ребят то, что вода в кастрюле стала совершенно черной. Трогать ее они боялись и осторожно поинтересовались у деда, что все это значит и как теперь быть. Степаныч первым делом потянулся за телефоном: вызывать врача. Но Шкипер очень вежливо сказал, что вызвать «Скорую» он не позволит, потому что тогда Жигана «с огнестрелом» заберут в милицию, а этот шкет ему еще нужен. Вежливость Шкипера еще тогда могла напугать кого угодно, и Степаныч не стал настаивать. Меня и раненого оставили под присмотром тети Ванды, которая благоразумно не задала ни одного вопроса, а дед со Шкипером поехали к Сохе. Вернулись они лишь наутро, потому что в Крутичах была страшная метель, и ночевать им пришлось там. Войдя в квартиру, Соха первым делом вылила таз с черной водой, и я почти сразу пришла в себя.

Выслушав Соху, я медленно взялась за виски. Мало того, что я ничего этого не помнила. Но я даже представить себе не могла, как я, бросившая медучилище из-за тошнотворного вида вывороченного кишечника, смогла возиться с жигановской простреленной грудью. Соха сидела рядом; молча, внимательно смотрела на меня.

– Егоровна, я боюсь... – жалобно сказала я. – Почему все так получилось? Я ничего не помню... Может, он врет, Шкипер?

– Да нет. – Соха посмотрела куда-то в сторону. – Коли б не ты – помер бы парень уже.

Я проследила за ее взглядом. Там, на продавленном диване, лежал Жиган и в упор смотрел на меня.

– Как ты? – машинально спросила я.

Он криво улыбнулся, ничего не сказал. Соха отошла к нему. Я вскочила и вылетела из комнаты – в объятия входящего деда.

На кухне обнаружился Шкипер. Как выяснилось, он никуда не уходил, и выставить его не смог даже Степаныч. На меня он посмотрел совершенно дикими глазами, и я окончательно убедилась в том, что Соха рассказала мне правду.

– Дитё, как ты это сделала?

– Отвяжись... не знаю. – Я взяла с плиты холодный чайник, начала жадно пить воду из носика. Так же, как я, вероятно, чувствовал себя Иисус Христос в двенадцать лет, когда небесный голос объявил ему, обыкновенному мальчишке, что он – Сын Божий. Вряд ли это известие его тогда осчастливило... Я же была попросту в панике. Одно дело – лечить зубную боль и останавливать кровь, и совсем другое – возвращать людей с того света. Напоминаю – мне было всего семнадцать лет, мой дед был медиком, с его слов я искренне считала всех целителей, кроме Сохи, шарлатанами и о подобной карьере не помышляла. Гораздо больше мне хотелось красиво петь, как Милка или Нина, чтобы больше зарабатывать в ресторане. А тут...

Мне помогла Соха. Она прожила у нас больше недели, часто и подолгу разговаривала на кухне с дедом, судя по всему – обо мне, ухаживала за раненым, и между делом успокаивала меня.

– Смирись, Александра, ничего не поделаешь. Раз бог такой дар дал – не избавишься. Может, поможешь еще кому. Зря не бойся. Запомни только, что плохого делать нельзя: все к тебе же и вернется, еще и втрое. И денег не бери. А выбирать, помогать человеку или нет, самой придется.

Я робко возразила, что в случае с Жиганом я и выбрать-то ничего не успела: все произошло почти само собой, я до сих пор не понимала, почему потребовала таз с водой. Соха, подумав, суховати сказала: «Бог, значит, так решил, а ему виднее». Я почувствовала, что ей тоже не очень-то понятно такое решение бога, но переспрашивать не стала. Уезжая, Соха произнесла еще одну загадочную фразу:

– Ты парня с того света вытащила – значит, он теперь жив, пока ты жива. Запомни и ему передай.

Я передала. Жиган, по обыкновению, промолчал.

Это был странный парень. Он пробыл у нас почти месяц и почти все это время безмолвствовал. Несмотря на запрет Сохи, он упорно курил в доме, утверждая, что от этого ему лучше, и, с презрением отвергнув принесенную дедом из больницы утку, самостоятельно, с матерной руганью и шипением, добирался до туалета. Мне он не разрешал даже помочь. Днем он ни на что не жаловался, но каждую ночь меня будил Степаныч:

«Санька, иди к нему, посмотри...»

Я вставала; шатаясь, шла в соседнюю комнату, откуда доносились едва слышные стоны.

«Что, грудь болит?»

«Ничего, вали отсюда...»

Я садилась рядом, закрывала глаза, доводила зеленый шар до нужного размера и сажала его на грудь Жигану. Вскоре он засыпал, я возвращалась в постель.

Шкипер появлялся каждый день: иногда на пару минут, иногда – на несколько часов, один раз остался на ночь и с интересом наблюдал, как я возжусь с Жиганом. Вопросов он мне больше не задавал, видимо, уяснив, что я понимаю в происходящем не больше его. Иногда они с дедом принимались тихо спорить, замолкая при моем появлении. Я долго не понимала, в чем дело, пока Шкипер не спросил меня саму:

«Детка, ты не хочешь на меня поработать?»

«Ошалел?! Кем?!»

«Ты людей лечить умеешь. У нас часто... случаи бывают. Хорошие деньги будешь получать».

«Не могу. За деньги нельзя».

«Хм... – растерялся он. – Ну, могу квартиру тебе купить. Или „Мерседес“ – хочешь?»

«Что я с ним делать буду?»

«Ресторан могу твой тебе откупить, будешь хозяйкой».

«Шкипер, отстань, – испугалась я. – Я боюсь. И...и...и... не хочу я вас лечить!»

Шкипер понял. Глядя через мое плечо в стену, мрачно спросил:

«А Жигана зачем тогда?»

«Не знаю... так получилось. – Я разозлилась. – Что, надо было ему помереть дать?!»

«А меня, если что, вытянешь? – вдруг спросил он. – По старой дружбе?»

«Тебя вытяну. Но ты, если что случится, лучше в больницу езжай».

Он невесело улыбнулся, заговорил о чем-то другом. Я с облегчением перевела дух.

По моей просьбе Шкипер как-то рассказал мне о Жигане. Тот был родом из Крыма, жил в детском доме, родителей не знал. С детским домом парню не повезло, директор заведения был садистом. В двенадцать лет Жиган сбежал, предварительно облив директора бензином из канистры и отправив следом горящую зажигалку. Мучителя детей, к сожалению, потушили, но детский дом сгорел дотла, а малолетнего поджигателя так и не поймали: он уже лежал на дне товарного вагона, несущегося в неизвестном направлении. Шкиперу он попался в Киеве, на вокзале, полумертвый от голода и ради куска хлеба готовый на все. Это было семь лет назад.

Сейчас же Жиган встал на ноги быстро и в один из дней, когда ни меня, ни деда не было дома, исчез. Вечером явился Шкипер, извинился за поведение «свинтуса неблагодарного», заверил, что с ним все в порядке, и положил на холодильник несколько зеленых бумажек.

– Я же говорила, что деньги нельзя! – всполошилась я.

– Это за постой и за харч, – серьезно сказал Шкипер. – Детка, вот здесь телефон. Если что – звони в любое время.

– Если – что?

– Да мало ли...

Мы со Степанычем вздохнули с облегчением. Позже дед признался мне, что все это время боялся появления в квартире милиции. Весь без исключения подъезд знал о том, что у Погрязовых из четырнадцатой отлеживается раненый уголовник, но никому из соседей даже в голову не пришло позвонить 02. То ли боялись Шкипера, то ли не любили милиции; скорее всего, и то и другое. К тому же, как выяснилось потом, многие опасались, что я напущу порчу. Последнее мне объяснила тетя Ванда, явившаяся к нам в один из вечеров вместе со старшей дочерью.

Я немного удивилась такому официальному визиту: обычно, если я была нужна тете Ванде, она просто стучала в стену – и я неслась на зов. Еще удивительнее было то, что с ней пришла Нина, непривычно растрепанная, ненакрашенная и, как мне показалось, недавно плакавшая. Я предложила чаю с печеньем, они не отказались. После второй чашки тетя Ванда осторожно заговорила о недавнем происшествии.

Тетя Ванда была мне почти матерью; мне и в голову не пришло что-то утаить, и я сказала обо всем. Тетя Ванда слушала, кивала, иногда поглядывала на сидевшую рядом дочь. Когда я умолкла, она грустно улыбнулась:

– Тебя бояться теперь, девочка, знаешь?

– Меня? – опешила я. – Кто? Почему?

– Ну, как же... Ты же вроде как ведьма, навредить можешь, болезнь напустить...

– Да как же им не стыдно?! – вскинулась я. – Врут, как сволочи! Тетя Ванда, ну ты-то им не веришь?

– Не верю. – Тетя Ванда помолчала. – Слушай... Вот Нинка моя поговорить с тобой хочет. Я пойду, чтоб не мешать, а вы поболтайте.

Она еще раз как-то странно улыбнулась и вышла.

Я испуганно смотрела на Нину. Она была старше меня на восемь лет, близкими подругами мы не были, доверительных разговоров никогда прежде не вели, и сейчас я отчаянно гадала: неужели она заметила мои взгляды, обращенные на Ваньку? Только этого мне не хватало!

– Ниночка, что случилось? С детьми что-то?

– Нет... Слава богу, здоровы. – Нина судорожно отхлебнула чаю из кружки, закашлялась, пролив несколько капель на юбку. – Девочка, я попросить тебя хочу. Я любые бы деньги дала, но мама говорит, ты не берешь... Хочешь мои бриллианты? Кольцо с изумрудом хочешь? Он настоящий!

– Да за что?! Нина! Что случилось?!

Нина закрыла лицо руками. Глухо сказала:

– Ванька шляется.

– Что?..

– Гуляет, мерзавец. Мне уже все, все рассказывают... Я вчера с детьми к родителям переехала.

У меня пошла кругом голова. Этого я ожидала в последнюю очередь. Нет, разумеется, о любвеобильности цыганских мужчин я знала с младенчества, множество раз мне приходилось видеть заплаканную и злую тетю Ванду, с остервенением грохочущую на кухне кастрюлями, и можно было не спрашивать о причине: дядя Коля опять поймал «беса в ребро». Но как можно было изменять Нине – Нине! – у меня не укладывалось в голове.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.